

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

Речь, произнесённая на немецко-русском форуме

Оклахома

“Умом Россию не понять?” О ком идёт речь? Кому не понять? Нашим историческим врагам? Нашим союзникам? Нашим партнёрам? Западному миру? Или нам самим? Правда, в другом стихотворении Тютчев уточнил эту мысль. “Не поймёт и не заметит **гордый взор иноплеменный** Красоты, что тайно светит в наготе твоей смиренной”. И всё-таки понять очень не просто. Не понять подвиги и взлеты России, но не понять и бездны и глубины её падения. Почему, имея великую, более чем тысячелетнюю полноценную универсальную цивилизацию, русские элиты разных эпох на протяжении всей истории не раз отрекались от родных устоев, впадали в тупиковые соблазны, в чужебские и недостойные представители великого народа обезьянничанье, становились сословием денационализированной черни? Примеров тому много. Ересь жидовствующих XV века; соблазны Смутного времени, во время которых наша боярская и часть клерикальной интеллигенции готова была ополячиться и окатоличиться; страшные зигзаги петровской эпохи, когда раболепие перед европейскими формами жизни, перед голландским протестантизмом и немецким орднунгом принимало не только бытовой, но почти религиозный характер; французомания начала XIX века (вспомним салон Анны Павловны Шерер из “Войны и мира”), от которой нас частично сумело излечить варварское нашествие французов и двенадцати других европейских языков (словом, наполеоновской антанты).

Это российское обезьянничанье Пушкин не пощадил, сказав о русской образованщине XIX в., которая зачитывалась коммерческой литературой, хлынувшей к нам в посленаполеоновскую эпоху с Запада: “Явилась толпа людей тёмных с позорными своими сказаниями, но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клеймённого каторжника, журналы наполнились выписками из Видока, поэт Гюго не постыдился в нём искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явится, и к стыду нашему, скажет, что успех его “записок” кажется несомнителен”.

А вспомним германофильство середины XIX века и англоманию той же эпохи в умах и в быту русских аристократов, сегодня пародийно выродившихся чуть ли не в 250 тысяч семей, живущих в самых престижных районах Лондона.

А культ Америки в начале 20-х годов XX века (вспомним лозунг – русский революционный размах + американская деловитость), культ, повторившийся в нашей “образованщине” через 70 советских лет в самых что ни на есть чуждо-безобразных формах.

В конце 90-х годов я вместе с небольшой группой друзей-писателей участвовал в выборах губернатора Красноярского края. Нашим кандидатом был Сергей Юрьевич Глазьев. Край громадный, денег на вертолёт у Глазьева не было, и нам приходилось вместе с ним выезжать из Красноярска для выступления и возвращаться обратно, порой одолевая в день по несколько сот километров.

Однажды мы заехали в таёжный городок Лесосибирск, провели несколько встреч с населением, измученным бедностью и безработицей, а поздно вечером нас повезли ужинать в лучшую, по словам местных патриотов, забегаловку с национальной сибирской кухней: омуль, пельмени, брусника...

Когда мы подъехали к избе, сложенной из красноватых, смолистых лиственничных брёвен, то я увидел на фасаде горящие неоновые буквы: "Оклахома".

Закусочная называлась по имени одного из пятидесяти американских штатов, где живут в резервации остатки индейских племён. Мне стало плохо — то ли от усталости, то ли от отчаяния. Ну разве можно было себе представить, чтобы в американской глубинке подобное заведение называлось "Ангара", "Енисей" или "Бирюса"?

— Леонид Иванович, — обратился я к Бородину. — Бесплезна наша агитация, Глазьев выборы проиграет...

Так оно и случилось. Губернатором Красноярского края стал "западник" Хлопонин...

С той поры слово "Оклахома" стало для меня символом нашего национального лакейства, нашей российской смердяковщины.

Поистине умом **такую жалкую и раболепную Россию**, такую "оклахомскую" родину трудно понять даже нам самим. На протяжении последних трёх или даже четырёх веков Россия, словно баба во хмелю, лезла в постель к другим цивилизациям, что можно объяснить лишь духовным помрачением или психическим заболеванием её интеллигенции — боярской, дворянской, монархической, чиновничьей, революционной, советской, антисоветской.

Казалось бы, Пушкин всё, что мог, объяснил будущим поколениям в завещании, рассыпанном по всему творчеству:

"Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал";

"С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству";

"Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна".

Ан всё равно российской интеллигентщине неймётся. Вспомним письма Капицы Сталину после войны относительно лакейского низпоклонства нашей интеллигенции перед Европой. Победа! Торжество! Россия в славе! Но опять они пошли лебезить и лакействовать перед прагматичным Западом, настолько потеряв чувство меры, что даже Капица, столько лет проживший на Западе, возмутился и, естественно, добился лишь одного — жестокой кампании против космополитизма, поскольку вождь был прагматичен не менее западных людей и в своих идеологемах не входил в тонкости, которые имел в виду Капица, а упрощал всё до предела. Впрочем, так поступали и Черчилль, и Гитлер, и Рузвельт.

Но всё-таки если говорить серьёзно, чужебесие, низкопоклонство, измена своей истории — есть болезненные крайности, изуродованные, извращённые формы русской всечеловечности, которую воспел Достоевский в речи о Пушкине.

Двадцатый век внёс поправки в формулу о русской всечеловечности, отчеканенную Достоевским. Вот они, эти поправки из творчества русского поэта нашего времени Юрия Кузнецова.

*Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.*

*Мы дорогу найдём по светилам,
Хоть светила сияют не нам.
Пропылим по забытым могилам,
Прогремим по **священным камням**.*

*Нам чужая душа – не потёмки
И не блеск Елисейских полей.
Нам едино, что скажут потомки
Золотых потускневших **людей**.*

*Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие **священные камни**,
Кроме нас, не оплачет никто.*

Выделенные слова – есть “цитаты” из романа “Подросток” Достоевского, из монолога главного героя романа Версилова.

И вновь Юрий Кузнецов:

ПАМЯТЬ

*– Отдайте Гамлета славянам! –
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.*

*Но я невольно обернулся
На прозвучавшие слова,
Как будто Гамлет шевельнулся
В душе, не помнящей родства.*

*И приглушённые рыдания
Дошли, как кровь, из-под земли:
– Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?!*

Смысл стихотворения в том, что Россия – есть последняя надёжная наследница западной культуры. Это дерзкое продолжение “Скифов”: “*Нам внятно всё – и жар холодных числ, и дар божественных видений*”, но с окисью, со сверхисторическим опытом народа, “перешедшего бездну”. А что касается “плача над священными камнями” Европы, то столько мы этих слёз пролили – благодатных, горьких, яростных, желчных, что пора бы иссякнуть потокам этой мутной влаги, имея в виду духовные и материальные дефолты последнего времени. Но дефолты бывали и раньше.

Дефолт имени маркиза Астольфа де Кюстина

“Я часто повторяю себе: здесь всё нужно разрушить и заново создать народ”.

“Вся Россия – та же тюрьма и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти её границы”.

“Вообразите полудикий народ, который милитаризовали и вымуштровали, – и вы поймёте, в каком положении находится русский народ”.

И такие сгустки ненависти – на каждой странице этой по-своему уникальной книги. Кто же пишет? На первый взгляд – революционер, какой-нибудь Герцен или Бакунин, террорист-народоволец польско-еврейского происхождения или один из фанатиков, делавших революцию 1917 года. Нет, это пишет добропорядочный французский аристократ, маркиз Астольф де Кюстин, в книге “Николаевская Россия в 1839 году”.

При петербургском дворе Кюстина приняли с распростёртыми объятиями. Всё-таки роялист, чьи отец и дед были казнены на гильотине революционерами-якобинцами. Уж этот-то поймёт и оценит великий смысл российско-

го самодержавия! Наивные люди. Они не понимали того, что и монархисты, и революционеры, и демократы Европы мазаны одним мирром, одним низменным страхом, одной лакейской и одновременно высокомерной дрожью перед Россией. Что они все — люди Запада. Об этом Кюстин сказал прямо и недвусмысленно. Так же, как немецкие рабочие во времена Гитлера были с фашистским Западом, а не с “пролетарской Россией”, так же и аристократ Кюстин за сто лет раньше был в одном стане с “революционерами” всех наций. Лишь бы против России. Он даже в любви к декабристам объяснился: *“Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма”*. Ну прямо-таки говорил, как Ленин или как Троцкий с Луначарским, а не как французский консерватор и аристократ!

Да если бы только о политике или о государственном или общественном устройстве речь шла в этом памфлете! Нет, тут всё на каком-то генетическом, иррациональном, на неземном уровне. Как будто не человек арийской расы и христианин приехал к нам, а какой-нибудь гость из межпланетного пространства, с Марса или Сатурна, существо внечеловеческой, не белковой, а углеродной или просто inferнальной цивилизации.

Его русофобия в книге настолько тотальна, что объёмлет всё: русскую природу, русскую песню, русскую историографию, русскую литературу, русскую архитектуру, русскую церковь, русскую женщину.

“Вчера я перечёл несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили моё мнение о нём... Он заимствовал свои краски у новой европейской школы... Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом”.

“Мёртвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного”.

“Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я ещё ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вёл в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно, речитатив без ритма...”

“Их внешность (это о русских женщинах. — Ст. К.), рост, всё в них лишено малейшей грации”, “Не видно было ни одного красивого женского лица”, а большинство отличается “исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью”.

Не будем вспоминать о том, что у многих понимающих толк в красоте людей Запада (Пикассо, Ромен Роллан, Вальтер Шубарт, Фернан Леже, Сальвадор Дали) жёны были русскими. Женофобство Кюстина, наверное, будет понятно, если вспомнить, что он был педерастом, как и Дантес с Геккерном (везло же Николаевской России на французских аристократах!)

“Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись низменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная”.

О Москве: город *“без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства”*, *“Кремль — сердце этого чудовища”*, *“Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического”*, *“сатанинский памятник зодчества”*, *“Кремль, который не удалось взорвать Наполеону”*...

Ах, вот где собака зарыта! Как жаль французскому аристократу, что революционер Наполеон не стёр с лица земли Россию, что не превратил в прах её святыни, что не вытряхнул из русских храмов, подобно троцкистским эмиссарам, чудотворное золото и серебро усыпальниц!

“Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной отделки. Её осеняет серебряный балдахин... Французам досталась бы здесь хорошая добыча”, — плотоядно сожалеет о несбывшихся возможностях маркиз. Внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я в своё время предположил, что лермонтовская “Родина” является как бы полемическим предвидением взглядов, изложенных французским маркизом.

В чём поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к её природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Всё, что Лермонтов любит, вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порождённую этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет её одним словом “люблю”, которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:

*Но я люблю – за что, не знаю сам? –
её степей холодное молчанье,
её лесов безбрежных колыханье,
разливы рек её, подобные морям...*

Вот это “за что, не знаю сам” – и есть предтеча тютчевского: “умом Россию не понять”.

Может быть, я пристрастен, но эти строки представляются мне как бы годом данным ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: “От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах... Зима и смерть, чудится вам, бессмысленно парят над этой страной”.

В России, как считал маркиз, “нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причём почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мёртвое уныние равнины без конца и без края”.

Очевидно, что это впечатления путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.

Михаил Лермонтов тоже глядит из кареты на русские пустынные равнины и просёлки и всматривается в них, “насколько хватает глаз”; но у него рождаются совершенно противоположные чувства:

*Просёлочным путём люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,
встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.*

Маркиз де Кюстин удивляется, глядя на подвыпивших туземцев, веселящихся совсем не так, как французы или немцы: “Напившись, мужики становятся чувствительными и вместо того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация!”

Лермонтов тоже не проходит мимо этой хотя и колоритной, но и весьма обычной для русской деревенской жизни картины:

*И в праздник вечером росистым
смотреть до полночи готов
на пляску с топотом и свистом
под говор пьяных мужиков.*

Культ души

Из писем Сергея Есенина Ан. Мариенгофу из Европы 1922 г.

“Раньше подогревало, что при всех российских лишениях, что вот, мол, “заграница”, а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно... И правда, на кой чёрт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксёнова. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстёгнутые брюки”.

“Родные мои! Хорошие!

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненужностью сдали в аренду под смердяковщину”.

А вот ответ Есенина российским революционерам 20-х годов, восхищавшимся “американской деловитостью”.

“Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаде́нка. Это не то что небо-скрёбы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова...”

“Гордому иноплеменному” уму всегда был чужд культ души, рождённый русской жизнью. Редкие умы Запада понимали, что слово “душа” – проводит границу между нашими цивилизациями. В Европе их можно перечислить по пальцам: Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби, Вальтер Шубарт, Райнер Мария Рильке, Вирджиния Вульф.

Из статьи под названием “Русская точка зрения” (1925), принадлежащей перу Вирджинии Вульф:

“Именно душа – одно из главных действующих лиц русской литературы... Она остаётся основным предметом внимания. Быть может, именно поэтому от англичанина и требуется такое большое усилие... Душа чужда ему. Даже антипатична... Она бесформенна... Она смутна, расплывчата, возбуждена, не способна, как кажется, подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии... Против нашей воли мы втянуты, заверчены, задушены, ослеплены – и в то же время исполнены головокружительного восторга”.

Она же о романе “Идиот” Достоевского:

“Мы открываем дверь и попадаем в комнату, полную русских генералов, их домашних учителей, их падчериц и кузин и массы разношерстных людей, говорящих в полный голос о своих самых задушевных делах. Но где мы? Разумеется, это обязанность романиста сообщить нам, находимся ли мы в гостинице, на квартире или в меблированных комнатах. Никто и не думает объяснять. Мы – души, истязаемые несчастные души, которые заняты лишь тем, чтобы говорить, раскрываться, исповедоваться”.

Если хорошо подумать – можно всё-таки догадаться, почему так называемый цивилизованный мир не любит Россию и боится её. Нелюбовь родилась задолго до русского коммунизма. Она была при Иване Грозном и при Петре Великом, при Александре Первом и при Николае Втором...

Страх перед военной и материальной мощью? Да, но это не всё. Мы терпим поражения то в Крымской войне, то в японской, то в перестройке; мощь проходит, а неприязнь остаётся. Мистический ужас перед географической беспредельностью? Неприятие чуждого Западу Православия? Да, всё это так... Но главная причина в чём-то другом...

Бродил я недавно по калужскому базару и разгадывал эту загадку. И вдруг полуспившийся мужичок с ликом кирпичного цвета, небритый, в засаленной куртяшке, помог мне додумать мои мысли... Он стоял в окружении нескольких помятых жизнью пожилых друзей, они торговали гвоздями, гайками и болтами и ждали, когда откроется палатка, чтобы сдать рюкзак стеклотары. А он, чтобы повеселить душу, играл на аккордеоне... Каждый из компании – поговори с ним – личность, философ, характер, – а перед музыкой все люди равны, соборны. Я прислушался... Сначала мой земляк сыграл музыку военных лет – “Синенький скромный платочек”, потом отступил лет на сорок и довольно сносно и с чувством исполнил вальс “На сопках Маньчжурии”, а задом и какой-то жестокий романс начала века выплеснул в зябкое мартовское утро, а потом вдруг перешагнул на несколько столетий назад и, самозабвенно растягивая меха, выдохнул из бессмертного ямщицкого репертуара: “Вот мчится тройка почтовая...”

Вот тебе и калужский бомж, в душе которого живут несколько веков культуры и музыки... Видел я в Америке внешне похожих на этого мужика бомжей – все дебилы и все неграмотные. Да, с точки зрения Запада, мы народ нецивилизованный, но я это понятие перевожу, как народ “сложный”, “природный”, “неупрощённый” и не желающий упрощаться ни за какие коврижки... За это нас и не любят, наша сложность – вечный укор их уступкам перед жизнью. Сложностью можно только гордиться. А на том же калужском рынке стоит женщина, бедно одетая, продаёт петуха – наглого, крупного, с большим алым гребнем и грязным, но могучим хвостом, держит его, как ребёнок, на руках и говорит соседке: “Петька у меня хороший, молоденький,

девять месяцев ему. В хорошие руки отдать надо. А то утром пришли корейцы, стали торговать Петьку на зарез, а я не отдала... На зарез Петьку моего!..” И поцеловала петуха в гребешок...

Ну разве с таким народом западный рынок построишь? Умом – не понять. Ей “петуха на зарез” продать жалко, а европейские варвары-протестанты несколько миллионов прекраснейших созданий природы – бизонов истребили, чтобы индейские племена лишились пропитания, зачахли, вымерли или ушли на крайний Запад, освободив земли для расселения белого человека с его бизнесом.

А у нас Есенин: “И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове” или: “Милый, милый, смешной дуралей, и куда, и куда он гонится, неужели не знает, что живых коней победила стальная конница?.. По-иному судьба на торгах переокрасила наш разбуженный скрежетом плёс, и за тыщи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз”.

Джек Лондон или Сетон-Томпсон наделяют животных чертами компаньонов или конкурентов по жизненной борьбе, характером когда достойных, а когда коварных соперников.

А у нас – Му-Му, Каштанка, Малек-Адель – конь из тургеневского рассказа “Чертопханов и Недопюскин”, у нас Серая Шейка и “Зимовье на Студёной” Мамина-Сибиряка. Словом – отношение к живому миру – это стена между традиционным и рыночным обществом.

Из сочинений Вальтера Шубарта: “Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил его души... В отличие от Европы Россия приносит в христианство азиатскую черту – широко открытое око вечности, но преимущество России перед европейцами и азиатами – в её мессианской славянской душе. Поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род...”

Антирасизм

Европейского расизма, который является главной причиной непонимания Европой России, в средневековой Европе почти не было. Он сложился в эпоху великих географических открытий, то есть в эпоху так называемого Просвещения, маскировавшего практику зарождающейся колониальной системы. Теоретически же этот научный расизм был обоснован позже в трудах Рикардо, Дизраэли, Мальтуса, Гобино, Ницше и других мыслителей и политиков Запада. Сущность этого расизма не в линчевании негров, не в геноциде цыган или евреев, а в абсолютной уверенности в том, что человечество делится на низшие и высшие расы.

Я в молодости восхищался Уитменом, думал, что он поэт всемирной, гуманной, всечеловеческой демократии, но недавно перечитал его.

*Друзья мои загорелые,
Стройно, шагом друг за другом
Приготовьте ваши ружья.
С вами ли ваши пистолеты и острые топоры?
Нам надо идти в поход, мои любимые,
Мы молодые, мускулистые, и весь мир без нас погибнет.
Пионеры! О пионеры!
Мы бросаемся отрядами
Напролом в атаку, грудью завоевать и сокрушить.
С нами знамя, наше знамя.
Поднимите наше знамя, многозвёздную владычицу.
Все склонитесь перед нею,
Боевая наша мать, грозная во всеоружии,
Её ничто не сокрушит.
Пионеры, о пионеры,
Всё смести, снести с пути!*

Но это же американский “Хорст Вессель”, это же гитлерюгенд, это же марш юберменшей!

Разве человек такого склада сможет понять Россию и русского человека Пушкина, призывавшего не завоевывать и сокрушать, а любить и восхищаться:

*Слух обо мне пройдёт по всё Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык –
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус...*

Разве Уитмен способен был сказать, что его будет читать какой-нибудь гурун или могикинец?!

Тунгус – это якут, по происхождению кровный брат североамериканских индейцев, которых призывал “сокрушать” Уитмен... А что писал Есенин? “Край мой любимая Русь и Мордва”; или Достоевский из “Мёртвого Дома”: “У них вера такая”... – о молящихся татарах так говорили русские преступники с уважением и особым тактом.

А вспомним есенинского “Пугачёва”, сцену, когда генерал Траубенберг требует от казаков, чтобы они догнали сбежавших от императорских войск калмыков со своими стадами (угнали скот, нанесли ущерб государству). Генерал требует “наказать монгольскую мразь, пока она Китаю не передалась”, а казаки отвечают ему:

*Он ушёл, этот смуглый монголец,
Дай же бог ему добрый путь,
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.*

В начале колонизации третьего мира, в эпоху так называемого, как бы в насмешку над здравым смыслом, Просвещения в XVI веке на Западе произошёл теологический спор, связанный с отношением к индейским племенам Нового Света. Католики установили, что у индейцев всё-таки есть душа, что они не животные, а полноценные люди. Англосаксонские же протестанты считали, что индейцы низший вид человечества и что души у них, видимо, нет, поскольку они не способны освоить ценности рационального мышления, и поэтому на них не должны распространяться права человека. Это не был схоластический спор: поскольку Ватикан и инквизиция пришли к выводу, что индейцы люди по образу и подобию Божьему, то испанцы начали жениться на индианках, дав начало новой расе креолов, протестанты же провели этническую чистку Северной Америки от индейцев, уничтожив 80% её аборигенов.

Да, Россия часто впадала, к сожалению, в западные соблазны, но насколько ей это удавалось, она “одушевляла” их. Да, она увлеклась в XIX веке дарвинизмом, но выбросила из него идею мальтузианства. Наш революционер-анархист и стихийный социалист князь Пётр Кропоткин писал: “Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов – инстинкт взаимопомощи – является наиболее сильным”.

Но через 100 лет после Кропоткина, после опыта Второй мировой войны Фридрих фон Хаек – духовный гуру наших либералов – так возразит Кропоткину от имени гражданского общества: “Люди должны изжить некоторые естественные инстинкты, прежде всего инстинкт сострадания и солидарности”. Нет, как гласит русская поговорка, “чёрного кобеля не отмоешь добела”. И никакие наши Цхинвалы западным людям не пример.

За что же тогда Запад осудил вождя гитлеровского рейха в Нюрнберге? Ведь они в основном проводили в жизнь на практике основные взгляды фон Хаека?

А наши соседи и вроде бы славяне – поляки, что думали на этот счёт?

Из польского повстанческого манифеста 1831 года: “Не допустить до Европы дикой орды Севера”. Но в ответ на польское оскорбление русскому народу по иронии истории поляки через столетие получили той же монетой от немцев. Из Геббельса: “Полякам вполне возможно внушить чувство расовой неполноценности по сравнению с немцами. В Польше уже начинается Азия”. И ещё: “Сибирь начинается от Вислы”.

Из школьного учебника кайзеровской эпохи, 1908 год: “Русские – это по-

лаузиатские племена. Раболепие, продажность, нечистоплотность — это чисто азиатские черты характера”.

Сразу же после речи Черчилля в Фултоне состоялось совещание промышленных магнатов США (1946). Вот выдержки из их резолюции: “Россия — азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и терроризме”. Чтобы заблокировать Россию, это совещание призвало Америку разместить свои атомные бомбы “во всех регионах мира и безо всяких колебаний сбрасывать их везде, где это целесообразно”.

И это сказано о союзниках, которые лишь полутора годами ранее спасли англо-американские войска от разгрома в Арденнах! Но в сущности сливки американской элиты лишь повторили всё, что до них сказал Гитлер: “Все народы азиатского типа подлежат уничтожению”. Вот такая цепочка любопытная — от маркиза де Кюстина к полякам, потом от Гитлера к американской элите.

Всё это повторяется мыслителями и нашего времени. Из книги лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша “Родина — Европа”: “Московия была страной варваров, с которой как с татарвой вели на окраинах войны”. А в журнале “Новая Польша” (№ 5, 2007 г.) мало того, что проект северного российского газопровода сравнивается с “пактом Молотова—Риббентропа”, но и комментарий даётся “средневековый”: “Путин старается присоединить дикую страну к Европе”.

Но представлю слово ещё одному русскому человеку, который, как никто другой из русских, знал Запад, полжизни прожил там, там и похоронен:

“Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте. . . Мы очень довольны тем, что в наших жилах есть и финская и монгольская кровь. Это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как только тоном оскорбительного презрения”.

Это сказал Александр Герцен, западник, полукровка. . .

Культ народа

“Гордому иноплеменному взору” — была непонятна Россия, потому что кроме стихийного культа личной души в ней всегда жил культ души народной, или, проще говоря, культ народа, поскольку народ всегда “выправлял” все исторические вывихи правящего интеллигентного сословия и в той или иной степени возвращал историю страны в её традиционное русло. Это было и в 1612 году, и в 1812-м, и в 1917-м, и в 1941—1945.

Культ народа формировала вся великая русская литература — Пушкин с “Капитанской дочкой”, Тургенев в “Записках охотника”, Гоголь в “Тарасе Бульбе”, Некрасов всем своим творчеством, Блок стихами о России. . . О Есенине и Клюеве чего уж говорить. Они — плоть от плоти. . . И главное то, что почти неграмотный русский народ всегда ставился нашими классиками выше европейской образованной черни. Вспомним Достоевского:

“Самые наиболее гуманные и европейские развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности, эти любители всегда презирали народ. Они верили: главное, что он — раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб всё-таки отвратителен. Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство: было рабство, но не было рабов”.

Западным умам невозможно было понять ещё одну нашу особенность: *“Есть идеи невысказанные, бессознательные и только сильно чувствуемые. . . К числу таких, скрытых в русском народе, идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастьем, преступников — несчастными” (Достоевский).*

Эта пророческая мысль Достоевского, конечно же, была невыносима и кощунственна для правового, юридического мышления людей Запада. Но до Есенина докатилась эта пророческая догадка и выразилась в таких стихах:

*Затерялась Русь в Мордве и Чуди.
Нипочём ей страх,
и идут по той дороге люди,
люди в кандалах.*

*Все они убийцы или воры,
как судил им Бог.
Полюбил я грустные их взоры
с впадинами щёк.*

Виктор Астафьев в своих воспоминаниях о войне словно бы подтверждает правоту Достоевского: *“...И на фронте, бывало, смотришь после боя на страшное поле и думаешь, только что сам на краю смерти стоял, сколько побито народа своего, а на мёртвого врага смотришь, и будто это даже и не враг, а просто заблудившийся человек”*.

Запад, который избавился к XX веку от понятия совести и греха, конечно, своим юридическим и правовым умом не мог освоить этой мысли. Со времён Достоевского прошло полтора столетия, со времён Есенина почти век — и несмотря на громадные изменения (я избегаю лживого слова “прогресс”) во всех областях жизни, люди Запада уходят всё дальше и дальше от Достоевского и Есенина, а значит, от понимания России.

Иногда наше взаимонепонимание приобретает просто комические формы. Помню, как однажды в гости к Вадиму Кожину приехал профессор-славист из ГДР. Он неплохо говорил по-русски, был антифашистом и коммунистом, и вот однажды, во время вечернего застолья у Вадима, который “угощал” немца собственными романсами на слова Рубцова, Соколова, Передеева, гость попросил нас исполнить русскую народную песню. А мы как раз созрели для того, чтобы спеть “По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах” — песнь о бродяге. Исполнили с душой. И посмотрели на гостя, естественно, ожидая одобрения. А он сидит хмурый.

— Что с тобой, Дитрих? — спросил Вадим. — Тебе не понравилось наше исполнение? Ну прости, конечно, мы пели кто в лес, кто по дрова!

Мало того, что нам пришлось долго растолковывать немцу смысл этой поговорки, но когда он её понял, то совсем огорошил нас:

— Странно! Почему вы так восторгались, когда пели, героем этой песни? Вот он к Байкалу подходит и “рыбацкую лодку берёт”. А ведь лодка-то чужая! Он к тому же сбежал с каторги и за опять за воровство принялся. Он же — рецидивист! Мало того! Навстречу ему “выходит родимая мать” и говорит, что брат его тоже в Сибири, “давно кандалами звенит!” Ведь вся семья у них криминальная! Чем же тут восторгаться?

Ну как не вспомнишь тут слова Бердяева о немцах: *“Мы с немцем о понятии “свобода” никогда не договоримся. На вольном воздухе он ощущает на себе давление хаоса, немец чувствует себя свободным лишь в казарме”*.

А ещё вспоминаю, как в громадных сибирских крестьянских дворах, с высокими из тёсаных плах стенами, — всегда в этих стенах было выпилено окошечко и дощатая подставка, на которой лежал хлеб и какая-нибудь немудрёная еда: для того чтобы, если будет мимо, даже ночью, проходить “рецидивист”, бродяга, он мог бы утолить голод.

Культь народа, народного понимания жизни безукоризненно выражен в коротком стихотворении одного из самых аристократических поэтов XIX века Е. Баратынского.

*Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И, чудеса постигнув, уповаем:
Какой же плод науки долгих лет,
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймёт надменный ум*

(опять как у Тютчева! — **Ст. К.**)

*На высоте всех опытов и дум?
Что?*

точный смысл народной поговорки.

О культе денег

Вспоминаю сцену из нашей поездки по Америке в 1990 году. В зале, спроектированном и по интерьеру и по размерам для узкого круга людей, серьёзные, лощёные специалисты прочитали нам не то чтобы несколько лекций, а, скорее, несколько правил, на которых зиждется со дня основания финансовая мощь Америки. Главным правилом было, по их словам, благоговейное, почти религиозное отношение к доллару, как к иконе. Голос человека, рассказывавшего о том, что изображено на долларе — и всевидящее ветхозаветное око ревнивого Бога Израиля, и вершина пирамиды, олицетворяющая власть над миром, и лики пророков золотого тельца — Джексона, Франклина, Вашингтона, — подрагивал от волнения — он читал нам не лекцию, а произносил проповедь, служил своеобразную литургию, зачитывал наизусть “священное писание”...

Ну, конечно, я, как всегда, не удержался и испортил впечатление от этой “песни песней” в честь золотого тельца, когда попросил слово и сказал нечто совершенно бестактное, вроде того, что в России никогда деньгам не поклонялись и, видимо, никогда не будут, а потому нам такого рода изыскания чужды и ничего дать не могут... Возмездие наступило быстро.

В городе Феникс, когда мы собирались из гостиницы ехать в аэропорт, укладывая чемоданы и выбрасывая в мусорную корзину ненужные, накопившиеся в дорожной сумке бумаги, я случайно выбросил авиабилет. Пропажу я обнаружил в аэропорту перед посадкой... Все уже пошли к самолёту, а мы с переводчицей Татьяной Ретивовой всё выясняли отношения с администрацией аэропорта. Я горячился:

— Ведь билет был заранее заказан на мою фамилию, посмотрите в компьютере — там всё должно быть, вот мой паспорт, никто по этому билету, кроме меня, полететь не сможет, так что вы вполне можете пропустить меня на посадку. Вот, кстати, компьютер и моё место выдаёт на экране!..

Но строгий, худой администратор был неумолим. Аргументы его были железными и абсолютно непонятными для меня:

— Вы потеряли билеты, а это значит, что вы потеряли деньги! — Тут он начинал волноваться и негодовать, не в силах объяснить мне, что потеря денег — своего рода нарушение высших моральных и религиозных догм общества. Больше всего, как я теперь понимаю, его возмущали мои легкомысленные оправдания происшедшего: “Ну потерял и что такого! Всё равно же — я в компьютере, а значит, можно посадить меня и без билета...” Такие речи, в его сознании, были издевательством над высшими ценностями жизни, над здравым смыслом, над верой в сверхчеловеческую силу денег...

Пришлось мне второй раз брать билет и снова заплатить двести долларов. Когда аэропортовский администратор добился этого, на его лице выразилось полное удовлетворение, как будто он принудил грешника к раскаянию и спас его заблудшую душу.

Свидетелем нашей мировоззренческой схватки был Леонид Бородин, с которым бок о бок я прожил целый месяц нашего путешествия.

— Станислав Юрьевич! — сказал он мне. — Ты их не переубедишь. Они не понимают, о чём ты говоришь, да не просто говоришь, а богохульствуешь...

Антибуржуазная закуска русского мировоззрения не позволяла Европе понимать Россию. Опять же у нас всё от Пушкина. Вот что сказал он о знаменитой в начале XIX века французской литературе: *“Легкомысленная, невежественная публика была единственною руководительницей и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию и деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ”*, — и это о литературе Гюго, Мери-ме, Бальзака, Альфреда де Мюссе и т. д.

* * *

Любимая книга моего детства о Томе Сойере чем заканчивается? Итог, венчающий все приключения, — счёт в банке на его имя в несколько тысяч

долларов с 6 процентами годовых. Он сразу становится уважаемым человеком в своём городке.

Индец Джо умирает, как животное, лишённое души. Но вопрос на засыпку: а может ли Том Сойер, когда вырастет, понять сцену из “Идиота”, где Настасья Филипповна бросает пачку банкнот в камин и Ганечка, духовный брат пушкинского Германа из “Пиковой дамы”, конечно, не сходит с ума, как Германн, но не выдерживает такого кошмара Натальи Филипповны и падает в обморок?

Из дневников Г. Свиридова:

“Нет, я не верю, что Русский Поэт навсегда превратился в сытого конференсье-куплетиста с мордой, не вмещающейся в телевизор, а Русская музыка превратилась в чужой подголосок, лишённый души, лишённый мелодии и веками сложившейся интонационной сферы, близкой и понятной русскому человеку. Я презираю базарных шутов, торгующих на заграничных и внутреннем рынках всевозможными Реквиемами, Мессами, Страстями, Фресками Дионисия и тому подобными подделками под искусство, суррогатом искусства. Они напоминают мне бойких, энергичных “фарцовщиков”, торгующих из-под полы крадеными иконами из разорённых церквей”.

Подумать только: через 150 лет после Пушкина Георгий Свиридов горюет о тех же позорных увлечениях русской либеральной черни и клеймит её почти пушкинскими словами. О русская судьба! Которую не понять никаким умом...

Можно, конечно, антибуржуазность русской литературы в XX веке списать на советское идеологическое давление, на соцреализм, на диктат коммунистической партии. Но что тогда делать с антибуржуазными сочинениями великих антисоветчиков – Бунина с его “Господином из Сан-Франциско”, Ходасевича с книгой “Европейская ночь” – о фашистской Европе; со стихами Марины Цветаевой о людях Запада: “читатели газет, глотатели пустот”. Глядя на вырождение Европы, она пишет: “Пора-пора-пора Творцу отдать билет”. Вспомнила Достоевского! Советские патриоты и вышвырнутая с родины “антисоветская сволочь” в 30-е годы думали и чувствовали одинаково. Ну как после этого умом понять Россию!

Непонимание на уровне быта

Взаимное непонимание России и Европы существует на всех срезах жизни: в этике, в эстетике, в быту и даже на кладбище.

Помню, как в глубинной провинциальной Америке я бегал трусцой среди фермерских имений. Однажды добежал до провинциального кладбища – где на зелёном ровном травяном поле торчали из земли одинаковые стелы из серого гранита, на стелах были выбиты стандартные короткие надписи:

“Блейк – 1831–1900”, “Кларк 1842–1910”, “Джон – 1856–1919”... Никаких там сантиментов вроде “Любимому мужу от скорбящей жены и детей” или “Зачем ты нас так рано покинул?” Кладбище чистое, безо всяких православных излишеств, без оград, без изысков с каменными бордюриками и цветниками, без склонившихся к надгробию ангелов, без самодельных стихотворений и переведённых на фарфор фотографий, каких так много на надгробных камнях Пятницкого кладбища в моей родной Калуге.

Трава, гранитные прямоугольники, похожие на противотанковые надолбы, фамилии и даты. Всё рационально, упрощённо, деловито, аккуратно до последнего предела.

Великий русский мыслитель Константин Леонтьев, кстати, как и Тютчев, будучи дипломатом, долго живший за границей, жестоко высмеивал рационалистическую бессовестность европейских нравов в знаменитой статье “Наши новые христиане”:

“Молодой граф Ростов, когда в “Войне и мире” молодцом один-одинёшенек поколотил мужиков, бунтовавших против беззащитной и, заметим, некрасивой княжны Болконской (которую он даже и видел в первый раз), обнаружил больше христианской любви, чем, например, французский живописец Давид, когда он на вопрос доброго, слабого, уже развенчанного и униженного Людовика XVI: “Когда вы окончите мой портрет?” – отвечал: “Я буду писать портрет тирана только тогда, когда голова его будет предо мной на эшафоте”. Каждый умный православный простолудин поймёт Ростова и назовёт его не

без соучастия “лихим барином”! А Давиду стоило бы за эти слова дать несколько десятков великорусских прежних плетей!”

А в какую сакральную, священную категорию западное мышление переводит низменную бытовую проблему туалетов, проще говоря, сортиров. Помните у Есенина в “Стране негодяев” – революционер Чекистов, западник, политэмигрант, попавший во время гражданской войны в пугачёвские оренбургские степи, витийствует:

*Я ругаюсь и буду упорно
проклинать вас, хоть тысячу лет,
потому что хочу в уборную,
а уборных в России нет.
Станный вы народ:
всю жизнь строили храмы Божии,
да я бы давно их перестроил в места отхожие.*

Интересно, что Андрей Кончаловский заклинился на той же почти фрейдистской проблеме, пожив в Голливуде, то есть получив американскую прививку, и в фильме “Курочка Ряба” – повторил устами главной героини те же заклинания об отсутствии в России комфортных сортиров. А вот ещё пример. Однажды американские спецы по ракетам по приглашению Горбачёва приехали на Байконур, где их поразили не столько красавицы-ракеты, сколько деревянные уборные с дырой в доске. Это всё и не смешно, потому что подобные очаги комфорта для западной элиты наполнены чуть ли не сакральным смыслом. Недаром на Западе и в западном сознании существует мечта о золотом унитаза, как о высшей точке жизненного успеха. И не зря Ленин, желая десакрализировать, дезавуировать эту мечту, говорил о том, что при победе коммунизма в мировом масштабе священный металл золота будет настолько обесценен и предан поруганию, что победивший пролетариат будет из него делать унитазы. То есть вождь революции как бы уравнивал разрушение религии с унижением другого западного божества – золотого тельца.

Когда западные люди гордились передо мной достопримечательностями своих особняков, они всегда подчёркивали, что их жилища имеют два, а то и три туалета, и это было похоже, что гордятся наличием двух, а то и трёх Красных, то есть священных, углов, домашних иконостасов.

Помню, как я расхохотался, когда в одном из ресторанов Марбурга пошёл в туалет и увидел на его облицованных кафелем стенах изображения корзины с фруктами, подносов с мясными блюдами, с рыбой и прочими соблазнительными яствами. И это – в отхожем месте.

* * *

И в заключение ещё один пример рокового непонимания умом.

В середине 20-х годов, во времена нэпа, пока ещё Европа не обрела коричневый цвет, и не наступила ещё в СССР мобилизационная эпоха, вся наша творческая интеллигенция – литературная, киношная, театральная, научная, торговая, военная и прочая – на полную катушку до начала 30-х годов пользовалась свободами выезда в капиталистический мир. Театр Станиславского проехал с гастрольями по всей Европе. Триумф был полный. В Берлине в конце гастролей труппа Станиславского встретилась с немецкими режиссёрами и актёрами. В конце беседы Станиславский, отвечая на обычный вопрос: “Над чем Вы работаете”, с вдохновением стал рассказывать немецким коллегам, что он мечтает поставить спектакль по “Идиоту”, в котором есть сцены, где Рогожин, измученный страстью к Настасье Филипповне, отвергнутый ею, напился до полусмерти, утром очнулся и стал жаловаться князю Мышкину, что не помнил, как провёл ночь, и какой ужас он испытал, когда очнулся и понял, что его “объели собаки”. Немецкие режиссёры были поражены сценой и возмущённо заявили, что поставить её невозможно. – Почему? – удивился Станиславский. – Да как же собаки могут объесть человека, – ответили немцы, – они же в намордниках!

Так что умом не то что русских людей, но даже и русских собак понять невозможно. У нас не то что люди – даже собаки, по сравнению с немецкими, свободные существа.

А в завершение вспомню разговор с охотником Романом Фарковым на берегу Нижней Тунгуски – Угрюм-реки. Фарков – участник войны, побывал в плену, бежал, закончил войну в Вене. Я достаю на берегу фээргевскую фиберлассовую складную удочку, налаживаю её, дед берёт удилице в руки, восхищается им и говорит:

– Да, головастые мужики, – потом на чуть-чуть задумывается и добавляет: – Но всё равно мы их побили!

Мировой историей правят мифы. Даже в наше время на их фундаменте возникают целые государства. Вспомним, что сказал Хаим Вейцман, обосновывая право евреев на создание Израиля: “Библия – наш мандат на Палестину”. Поэтому я остаюсь с Тютчевым, с Пушкиным, с Достоевским, с Вальтером Шубартом. Я хочу жить в мире мифов и умереть среди них, чтобы воскреснуть в день Второго Пришествия и Страшного Суда, ибо только после него прервётся великая и животворная мифология истории.